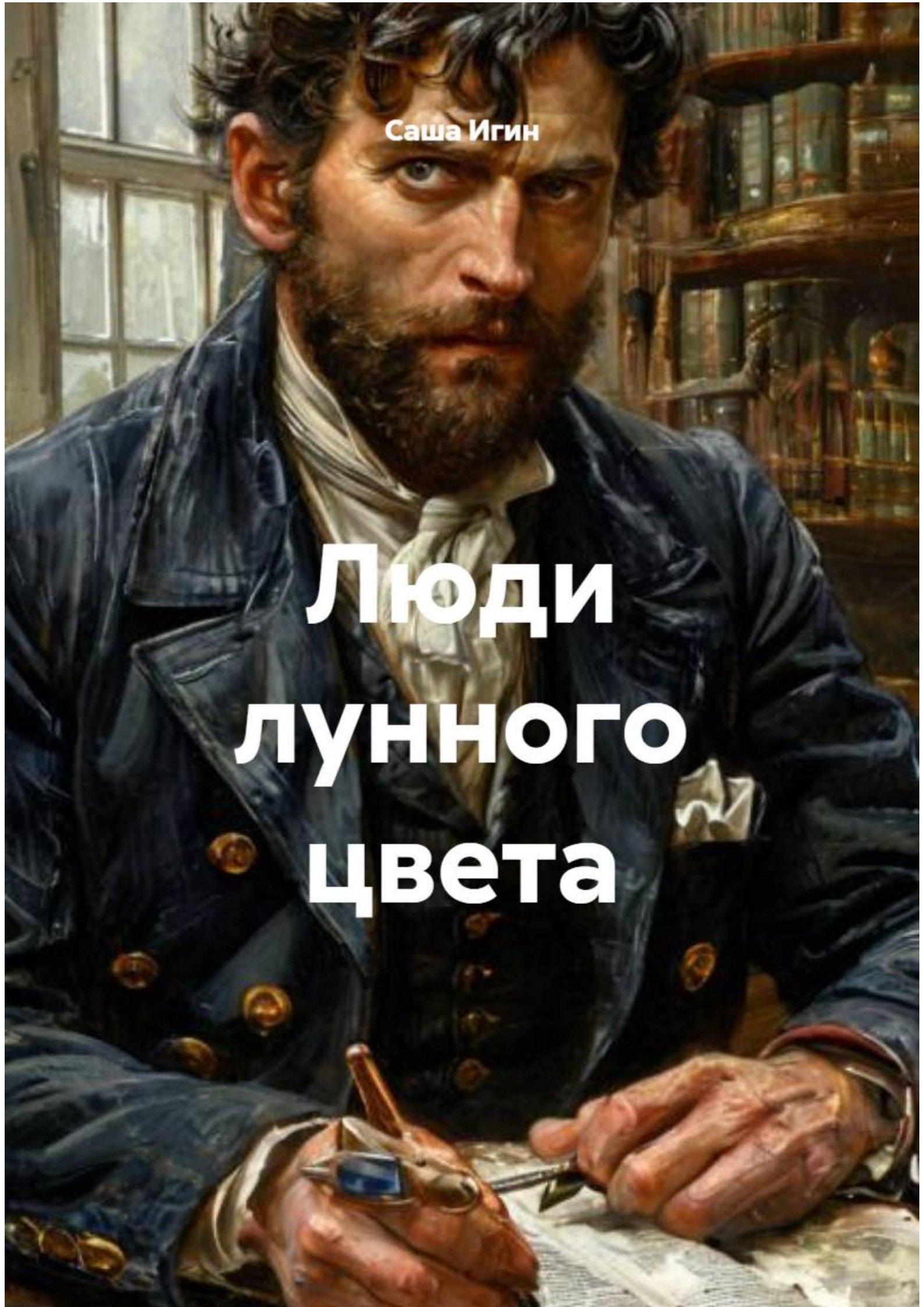




Саша Игин

Люди лунного цвета

Саша Игин

Люди лунного цвета

«Автор»

2026

Игин С.

Люди лунного цвета / С. Игин — «Автор», 2026

Петербург, 1885 год. Профессор Орест Светловидов, гениальный венеролог, лечит «людей лунного света» — тех, кого государство карает каторгой за врожденную природу. Спасая пациентов — офицеров, инженеров, музыкантов, — он доказывает: перед нами не разврат, а трагедия и медицинский диагноз. Но в империи, где закон о «противоестественных пороках» служит рычагом шантажа и доноса, правда губит учёного. Проиграв битву с обер-прокурором Победоносцевым, пережив самоубийство князя и публичную травлю, Светловидов умирает в забвении. Его рукописи сожгут и белые, и красные. Но спустя век найдут письмо к Крафт-Эбину, где вынесен главный диагноз: общество неизлечимо больно жестокостью, которую оно выдает за нравственность.

© Игин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Петербург, 1885	5
Глава 1. О пользе микроскопа и вреде обер-прокурора	6
Глава 2. Жареные факты: Дело о камер-юнкере	10
Глава 3. О науке и цензуре	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Саша Игин
Люди лунного цвета
Часть первая. Петербург, 1885

Глава 1. О пользе микроскопа и вреде обер-прокурора

Кабинет профессора Ореста Валерьевича Светловидова в Императорской Военно-медицинской академии походил на помесь алхимической лаборатории, ризницы и операционной при осадном положении.

Здесь всё дышало тем особым, ни с чем не сравнимым ароматом эпохи, который нынешний историк назвал бы «симфонией карболки». Запах этот — смесь фенола, йодоформа и дорогого парижского табаку «Капороль» — был настолько въедлив, что, казалось, пропитал даже тяжелые портьеры из зеленого сукна. На огромном, заляпанном реактивами столе соседствовали: изящный гипсовый слепок Венеры Милосской с подвязанной фиговым листком наготой и костяная ручка с надписью «„Истина — в вине, здоровье — в воде“», которой профессор пользовался для каллиграфического выписывания рецептов.

Книжные шкафы ломились от кип немецких «„Архив дерматологии“» и французских «Летопись общественной гигиены», но на самом почетном месте, за стеклом, пылился толстый том Устава о наказаниях, раскрытый на статье 995. Статья эта, словно заноза, торчала из академического благолепия, напоминая о том, что наука, как бы высоко она ни парила, всегда рискует свернуть шею о гранит государственного закона.

Светловидов стоял у окна. Был он высок, сутул, с бородой клинышком, которая в Петербурге давно уже вышла из моды, но которую он носил не из снобизма, а из лени — жалко было времени на бритье. Пальцы его, длинные и гибкие, достойные руки виртуоза-скрипача или профессионального палача, нервно перебирали кисточку для смахивания пыли с препаратов.

— Вы, Ваше Высочество, изволите гневаться, — голос у профессора был тихий, с легкой картавостью, свойственной старым московским семинаристам, переквалифицировавшимся в светил медицины. — А я вам доложу, что гнев ваш — он как напалм... простите, как греческий огонь: жжет всё вокруг, а причины не видит.

Напротив него, развалившись в единственном кресле, которое Светловидов берег для особо важных пациентов (ибо простецкие сидели на табуретах), восседал великий князь Константин Константинович. Владыка муз, покровитель искусств и, как шептались в гвардейских офицерских собраниях, человек, чьи стихи были куда откровеннее, чем позволял его августейший статус.

Князь сегодня был не в духе. Брови его, изломанные, как у античной трагической маски, сошлись на переносице. В руке он вертел золотой портсигар, но не открывал его — воздух в кабинете и без того был слишком густ, чтобы разбавлять его ароматом «Жуан» или «Баккара».

— Полноте, профессор, — голос великого князя звучал глухо, с той особой придворной брезгливостью, которая не терпит возражений. — Я говорю о разврате. О разврате в гвардейских полках. Это чума! Это гангрена, которая разъедает офицерский корпус! Вы, как врач, должны понимать: когда порок принимает системный характер — это уже эпидемия. Её надобно не лечить, а... выжигать каленым железом.

— Именно что «выжигать», Ваше Высочество, — Светловидов усмехнулся и, подойдя к столу, взял в руки микроскоп — массивный, немецкий, работы Цейса, за который он отдал годового жалованья. — А скажите мне, умоляю, где именно прикажете прикладывать сие каленое железо? К лобным долям? Или, быть может, к гипофизу?

Князь брезгливо поморщился, как от зубной боли.

— Не юродствуйте, Орест Валерьевич. Я говорю о душе. О падении нравов. О том, что офицеры... — он запнулся, подбирая слово, — ...офицеры лейб-гвардии Преображенского полка, столпы престола, забыв о долге, посещают... заведения, где...

— Где вместо женщин их ждут красивые юноши в лосинах? — закончил за него профессор с той пугающей простотой, которая дается только людям, привыкшим называть вещи своими латинскими и греческими корнями. — Знаю, Ваше Высочество. И более того, скажу вам крамолу: один из ваших флигель-адъютантов, тот самый, что на днях был произведен в полковники за отличие по службе, состоит у меня на учете с диагнозом «извращение полового чувства». И знаете что? По службе он рвется в фельдмаршалы.

Князь побледнел. Пальцы его сжали портсигар так, что золото жалобно хрустнуло.

— Как вы смеете?! — выдохнул он. — Это преступление! Статья 995 Уложения о наказаниях гласит: «Мужеложство — наказывается лишением всех прав состояния и ссылкой на поселение в Сибирь»! Вы что же, предлагаете мне смотреть сквозь пальцы на то, что в моей гвардии плодится... эта...

— Патология? — подсказал Светловидов.

— Мерзость! — отрезал великий князь.

— Ах, Ваше Высочество, Ваше Высочество... — профессор вздохнул с такой тоской, словно ему предстояло делать труднейшую операцию без наркоза. — Вот вы изволите оперировать понятиями «душа» и «мерзость». А я, человек подлый, ученый, оперирую тем, что вижу в окуляр. — Он похлопал ладонью по микроскопу, как по холке верного коня. — Подойдите-ка сюда.

Князь, движимый то ли любопытством, то ли желанием немедленно раздавить этого наглого эскулапа его же аргументом, нехотя поднялся с кресла.

— Смотрите, — Светловидов привычным движением положил на столик микроскопа тончайший срез ткани, окрашенный кармином. — Это препарат мозга. Мозга того самого человека, которого вы, государь мой, назвали бы мерзавцем и сослали бы в Сибирь. Он повесился в камере предварительного заключения, не дождавшись суда. Узрите же, Ваше Высочество, его преступление.

Князь нагнулся к окуляру. В желтоватом свете лампы он увидел нечто, похожее на фантастический пейзаж чужой планеты: причудливые извилины, клетки, похожие на медуз, и странные, неестественные скопления вещества в глубине.

— Что это? — спросил князь, отрываясь от микроскопа. Глаза его подернулись поволокой недоумения.

— Это, Ваше Высочество, природа, — Светловидов говорил медленно, вкладывая в каждое слово весь свой авторитет и всю горечь бесчисленных вскрытий. — Воля Всевышнего, если угодно. Или ошибка эмбриогенеза. В этом участке мозга — там, где у обывателя заведует половым инстинктом, направленным на продолжение рода, — у нашего покойника имеется врожденное изменение. Он не выбирал, кого любить. У него не было выбора, понимаете? Ему, как и вам, Ваше Высочество, дан был от рождения аппетит. Только ваш — к изысканной поэзии и театру, а его — к тому, что вы называете мерзостью.

— Вы кощунствуете! — князь выпрямился во весь рост. — Вы приравниваете грех к... физиологии?

— Я, батенька, профессор патологической анатомии. Для меня грех — это категория души, с ней пусть обер-прокурор Синода разбирается, ему за это жалованье платят. А извращение — это иногда категория мозга. И лечить его каленым железом, то бишь Сибирью, столь же разумно, как прижигать огнем родимое пятно на лице младенца. Пятно-то вы сожжете, но и дитя, глядишь, духом тронется, а то и вовсе Богу душу отдаст.

Великий князь отошел к окну. С Невы тянуло сыростью, где-то на Крестовском острове робко зажигались первые электрические огни — новомодное развлечение, пугавшее извозчиков.

— И что же вы предлагаете? — спросил он после долгой, тягостной паузы. — Отменить статью 995? Чтобы эти... люди лунного света — а я слышал такое поэтическое определение, кажется, от вашего же брата, доктора, — чтобы они открыто развращали гвардию?

— Я предлагаю не смешивать мух с котлетами, Ваше Высочество. Или, как говорят римляне — каждому своё. — Светловидов снял пенсне, и его близорукие, чуть навывкате глаза смотрели теперь на князя с той страшной человеческой жалостью, которая бывает у патологоанатомов, перерезавших тысячи животов. — Законы империи существуют, чтобы карать за действие. За насилие, за растление малолетних, за использование служебного положения. Это — преступления. А за то, что два офицера, оба совершеннолетние, оба в здравом уме, но с больной, прости Господи, долей мозга, разделяют друг с другом ложе... за это, простите, наказывать может только Господь Бог. И то, как мне кажется, на Страшном суде, а не на гауптвахте.

— А если это заразительно? — князь обернулся резко, щека его дернулась. — Если это, как холера, передается примером? Если молодые корнеты, глядя на своих кумиров...

— Сифилис, Ваше Высочество, заразителен. Туберкулез — да. Даже, простите за вульгарность, насморк. А вот душа, говорят медики, не микроб. Влечение не передается через рукопожатие или через устав строевой службы. — Светловидов позволил себе улыбнуться, обнажив желтоватые, прокуренные никотином зубы. — Если корнет склонен к тому, что вы называете пороком, он найдет его и в кирасирах, и в конной артиллерии, и даже в Пажеском корпусе. Если не склонен — никакой пример его не совратит. Тут, извините, или гипофиз виноват, или детская травма, или излишняя материнская ласка в младенчестве, но только не дурной пример. Взгляните на меня: я с детства окружен этими... пациентами. Но, как видите, я неисправимо предпочитаю дам. И дам, должен заметить, исключительно пышных, что выдает во мне грубого материалиста.

Князь усмехнулся, но тут же одернул себя. Светловидов видел эту борьбу: между человеком, искренне верящим в то, что мир держится на дисциплине и Уставе, и человеком, который, возможно, слишком хорошо знал, о чем пишет в своих зашифрованных дневниках.

— Опасные вы речи ведете, профессор, — тихо сказал великий князь. — С такими речами не в Академии сидеть, а в Соловках, при семинарии.

— Отчего же, Ваше Высочество? — Светловидов развел руками. — Я не призываю к бунту. Я призываю к состраданию. Наука нынче шагнула далеко. В Париже, в Вене уже созданы комиссии по изучению сего вопроса. Там поняли, что содомия — это не всегда грех. Иногда это крест. И носить его человеку приходится всю жизнь, прячась, боясь доноса, шантажа, а под конец — петли. Мы же, вместо того чтобы облегчить сей крест, вешаем на шею еще и гирю. А потом удивляемся: отчего это в полках столько самоубийств, отчего лучшие умы, тонкие ценители искусства, предпочитают пулю, а не позор?

— Вы защищаете их, — констатировал князь. Это был не вопрос. Это был приговор.

— Я защищаю право врача лечить, а не палача — наказывать. Я защищаю науку от мракобесия. И я защищаю Россию, Ваше Высочество, от глупости, — Светловидов говорил спокойно, но в кабинете стало душно, как в бане. — Потому что, карая этих людей, мы не искореняем порок. Мы выталкиваем их в бездну отчаяния, из которой они, объятые стыдом, идут либо в петлю, либо в крамолу. Революционеры, Ваше Высочество, очень любят вербовать тех, кого государство объявило изгоями. Отверженные — лучший материал для бомб.

Наступила тишина. Слышно было, как за стеной, в лаборатории, звенит в спиртовке пробирка — это ассистент Семенович, царствие ему небесное, ставил очередную реакцию Вассермана. Запах карболки стал невыносимым.

Великий князь медленно надел перчатку — одну, другую, застегнул мундир на все пуговицы, словно закрывая доспехи.

— Вы очень убедительны, Орест Валерьевич, — произнес он ледяным тоном. — Но вы забываете, что Россия стоит не на микроскопах. Она стоит на вере и на воинском уставе. И

пока я жив, пока я отвечаю за гвардию, пока обер-прокурор Победоносцев держит руку на пульсе империи, — никакой науке не позволено обелять порок. Статья 995 была, есть и будет.

Он взял со стола свою треуголку, но на пороге задержался. И здесь, в этом полушаге, проявилась вся трагедия эпохи, когда личное сталкивалось с государственным.

— Знаете, профессор, — сказал великий князь уже не громко, а почти шепотом, глядя куда-то в угол, где на шкафу стоял скелет неизвестного бродяги, завещанного науке. — Я ведь стихи пишу. И есть у меня строчки... «Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость погибшую мою». Так вот, порой мне кажется, что вся наша империя — это такая же Венера Милосская, как у вас на столе. Только ей, прости Господи, оторвали не руки, а душу. И вместо души — статья 995.

Дверь за великим князем закрылась мягко, бесшумно, как в хорошем анатомическом театре.

Светловидов постоял, глядя на микроскоп. Потом подошел к столу, взял тяжелый том Устава о наказаниях, раскрытый на злополучной статье, и, не торопясь, переложил его на нижнюю полку, под кипу старых журналов.

— Семенович! — крикнул он громко, давая волю накопившемуся раздражению. — Несите сюда историю болезни номер сорок один! И велите подать чаю покрепче. И коньяку, черт возьми, коньяку! Ибо, душа моя, не столько мужеложство Россию сгубит, сколько упрямство дураков, которые лезут в медицину с уставом, в душу — с жандармами, а в науку — с крестом, осеняя им то, что лечить надобно.

Он сел за стол, открыл толстую амбарную книгу в кожаной обложке и, окунув перо в чернильницу, вывел на новой странице:

«№41. Гвардии полковник (имярек, по высочайшему повелению — под грифом). Диагноз: гомосексуальная психопатия на фоне наследственной отягощенности. Прогноз: для организма — благоприятный при условии социальной адаптации; для карьеры — катастрофический, ибо статья 995 Уложения о наказаниях — она, сударь мой, не лечит, а калечит. Лечение: покой, отсутствие шантажа, морские купания и... тишина в кабинете обер-прокурора. Что же касается души... о душе, господа, пусть пекутся те, кому это положено по штату. А мое дело — мозг. И сердце, которое, увы, нередко разрывается от стыда, а не от инфаркта».

Перо скрипнуло в последний раз. За окном, над куполами Академии, занимался серый, петербургский, безнадежный рассвет. В кабинете снова воцарился тот самый аромат эпохи — запах карболки, парижского табака и тлеющей империи, которая вот-вот должна была запнуться о собственный Устав, пытаясь рассмотреть в микроскопе то, что предпочитала не замечать на плацу.

Конфликт был обозначен. Наука и милосердие встали по одну сторону баррикад, а закон и казенное благочестие — по другую. И где-то между ними, в лунном свете, мерцали тени людей, чья вина заключалась лишь в том, что природа, в приступе непонятого вдохновения, создала их не такими, как все.

Глава 2. Жареные факты: Дело о камер-юнкере

Осенний Петербург дышал в спину сыростью и инфлюэнцей. На Фонтанке, у Летнего сада, ветер гнал по черной воде обрывки афиш с итальянской оперой, словно сама Нева стремилась избавиться от этого легкомыслия. Профессор Орест Валерьевич Светловидов, запахнув шинель на бобровом меху, мерил шагами свой кабинет. Здесь, на Моховой, царил запах карболки и вековой пыли медицинских фолиантов. На столе, придавленный черепом (не френологическим, а самым настоящим, изъятый из могилы самоубийцы), лежал свежий номер «Врача». Светловидов не читал — ждал.

Дверь отворилась без стука. Камердинер, вышколенный и бесстрастный, произнес:

— Барыня. Очень встревоженная. Без доклада.

И тут же в кабинет, словно выпорхнув из экипажа прямо в этот храм науки, влетела дама. Возраст ее трудно было определить сразу — в полумраке петербургского утра она казалась то ли увядающей красавицей, то ли статуей, сошедшей с фасада Михайловского дворца. Шляпка с вуалью, соболья ротонда, запах «Lily of the Valley» от Аткинсона — всё выдавало породу. Но глаза... глаза были как у подраненной ланни, которую травят сворой.

— Профессор, — голос ее сорвался на шепот. — Вы — моя последняя надежда. Мне сказали, вы лечите не только тело, но и... душу. Точнее, то, что с ней делают обстоятельства.

Светловидов, не торопясь, отодвинул череп в сторону, словно убирая с дороги ненужный аргумент.

— Садитесь, сударыня. И избавьте меня от иносказаний. Я человек прямой, как зонд. Если у вас болит — показывайте, где. Если болит душа — излагайте факты. Без слез. Слезы в моей практике мешают лишь сифилитикам в стадии бугоркового поражения, у них они едки.

Дама судорожно сжала ридикюль из крокодиловой кожи — дорогая вещь, но сжимала она его так, будто это был приговор.

— Мой сын. Ему двадцать два. Он... камер-юнкер двора Его Императорского Величества.

— Звание почетное, но для здоровья опасное лишь непомерным честолюбием, — сухо заметил профессор, придвигая к себе массивную чернильницу. — Продолжайте.

— Его обвиняют. В том, что... — она запнулась, и в тишине кабинета стало слышно, как потрескивают дрова в камине. — В том, что во французском языке называют *réché contre nature*.

— А по-русски, сударыня, это называется мужеложство. Статья 995 Уложения о наказаниях. Лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы в Сибирь на срок от четырех до восьми лет. Если дело дойдет до суда и если обвиняемый не принадлежит к податным сословиям, позор ляжет на весь род. Навсегда.

Каждое слово профессор отчеканивал, как палач, зачитывающий приговор. Дама побледнела, но не упала в обморок — Светловидов уважал таких.

— Я не буду спрашивать, виновен ли он, — продолжал профессор, зачем-то выдвигая ящик стола, где в идеальном порядке лежали инструменты: скальпели, зонды и пулевые экстракторы. — Спрошу иначе: вы хотите, чтобы я его лечил от болезни или защищал от закона?

— Я хочу, чтобы он остался жив! — выдохнула мать. — Вчера он пытался застрелиться. К счастью, пистолет дал осечку. А сегодня утром жандармы пришли с обыском. У них есть письма. Грязные, компрометирующие письма от... от него. И показания какого-то отставного гусара.

— А, — протянул Светловидов, и в этом «а» прозвучало узнавание. — Значит, «дело о камер-юнкере». Я слышал краем уха в Английском клубе. Ваш сын попал в хорошую компанию. Там фигурирует и князь, и богатый купеческий сын, и этот самый гусар, который, судя по

всему, решил погреть руки на чужом позоре. Шантаж, сударыня. Обычная история для нашего города. Только жертвы обычно не стреляются, а откупаются.

— У нас нет таких денег, чтобы замазать это дело! — с горечью сказала дама. — Имя отца, заслуженного адмирала, не должно быть втянуто в это болото.

Светловидов встал. Он подошел к окну, смотрел, как дворник колет лед на панели, и думал.

Профессор Орест Валерьевич Светловидов, чья фамилия гремела в Европе после выхода его труда «Сифилис и социальная стигма», в последние годы все чаще отходил от чистой венерологии. Он говорил своим студентам в Медико-хирургической академии:

— Джентльмены! Гонорея — это лишь кара за мимолетную слабость. Сифилис — трагедия для дурака, который не знал меры. Но есть болезни, которые не лечатся ртутью или калием йодистым. Это болезни духа, переодетые в плоть. Ими занимаются палачи, священники и... такие вот несчастные, как я.

Его научный интерес сместился в область, о которой в приличном обществе молчали, но о которой судачили на всех перекрестках. Судебная психиатрия и сексопатология. Он одним из первых в России начал коллекционировать не бабочек, а «казусы», выискивая в человеческих пороках не злой умысел, а патологию.

— Природа, — говаривал он, наливая себе вечернюю рюмку «Смирновской», — не терпит не только пустоты, но и однообразия. Если Бог создал мужчину и женщину для размножения, то дьявол, как великий экспериментатор, добавил вариации. Вопрос лишь в том, где кончается грех и начинается болезнь.

И вот теперь перед ним сидела мать, готовая на всё, чтобы спасти сына. И Светловидов видел здесь не просто частный случай, а возможность сделать то, о чем он мечтал годами: ввести в русскую судебную практику понятие, которое он вычитал в новом труде Крафт-Эбинга, — «врожденная инверсия».

Он резко обернулся.

— Я согласен. Но на моих условиях. Я не адвокат. Я буду экспертом от науки. Я осмотрю вашего сына. Если я увижу в нем развратника, испушенного пороком, — я умою руки. Пусть Сибирь выправляет ему хребет. Но если это то, о чем я думаю... если это болезнь, заложенная в него еще в утробе, — я буду биться до конца. И тогда, сударыня, нам понадобятся не деньги, а стальные нервы. Потому что мы пойдем против общественного мнения, против Святейшего Синода и против всей этой... — он махнул рукой в сторону Невского, — красоты.

Дама молча кивнула. Светловидов нажал кнопку звонка.

— Степан! Вели подавать коляску. Мы едем на Гагаринскую набережную.

В особняке на Гагаринской пахло не карболкой, а дорогими сигарами и хандрой. Молодой человек, которого профессор застал в будуаре матери (комната его самого была опечатана после обыска), сидел в кресле с видом человека, который уже всё решил. Красивый, с той нежной, почти девичьей красотой, которая так ценилась в эпоху Александра II, он лениво перебирал кисти. Увидев профессора, он усмехнулся:

— Еще один врач? Маман, ты хочешь проверить, не болен ли я сифилисом? Могу тебя успокоить — у меня вкус к чистоте. Это мое единственное достоинство, которое теперь приравняют к уголовщине.

— Заткнитесь, юноша, — спокойно сказал Светловидов, ставя саквояж. — Ваши остроты я слышал от каждого второго пациента, который пытается скрыть страх за маской цинизма. Раздевайтесь.

— Что? Прямо здесь?

— Здесь. Или вы стесняетесь? Уверяю, я видел столько мужских хозяйств, что ваше меня не впечатлит ни размером, ни формой. Я ищу не это.

Осмотр был долгим и унижительным, но Светловидов проводил его с той бесстрастной жестокостью, которая свойственна только истинным хирургам. Он щупал железы, смотрел на форму черепа, измерял таз, проверял сухожильные рефлексы. Юноша, уже сломленный, подчинялся.

Наконец, профессор сел, вытер руки спиртом и сказал матери, которая ждала за дверью:

— Ваш сын, сударыня, не развратник. Он — несчастный. И я готов это доказать.

— Что вы нашли? — прошептала она.

— Врожденную инверсию полового чувства, — четко, как на лекции, произнес Светловидов. — У него женский тип телосложения, узкие плечи, широкий таз, отсутствие кадыка, оволосение по женскому типу. Эндокринная патология, сударыня. Он родился таким. Его влечение — не следствие развращающего чтения или дурного примера в кадетском корпусе. Это биология, пошедшая наперекор морфологии. Это не порок, а беда.

Вернувшись к себе на Моховую, Светловидов не спал всю ночь. Перед ним лежали конспекты, немецкие книги и чистый лист бумаги для экспертного заключения. Он понимал, что затевает опасную игру.

В окна бил холодный рассвет, обнажая истинную суть города.

А Петербург в те годы, милостивый государь, был городом контрастов. На парадном Невском, сверкая золотом эполет и бриллиантами парижских модисток, шествовала Империя. А в переулках, между Литейным и Владимирской, в доходных домах с черными лестницами, жила совсем иная жизнь.

«Голубые» балы? О, это была не выдумка, а сущая правда! О них знали все — городские, журналисты бульварных листков, великие князья, посещавшие эти сборища из любопытства, и, разумеется, агенты Третьего отделения. В закрытых клубах на Невском, вроде «Аквариума» или некоторых меблированных комнатах на Итальянской, собирались свои «посвященные». Тут можно было встретить и гвардейского офицера, бравого с виду, но с томным взглядом, и купеческого сына, проматывающего миллионы на кастратов-певчих, и художника-мариниста, и даже одного архиерея, который якобы приезжал «наставить заблудших на путь истинный», но, как шептались, сам охотно сходил с этого пути.

Градоначальство смотрело на это сквозь пальцы. Взятничество, было тонкой наукой. Кое-кто из «своих» имел высоких покровителей. Пока всё было тихо — не лезли на глаза, не устраивали скандалов, — их не трогали. Более того, в среде балета и императорских театров подобные наклонности были почти что нормой, превратившись в своего рода «профессиональную традицию», о которой цензоры писали в доносах, но начальство прятало эти бумаги в стол.

Но стоило только кому-то из «голубых» переступить негласную черту — влюбиться не в «своего», а в отпрыска знатной фамилии, или, того хуже, в камер-юнкера, — как в действие вступал маховик государственной машины. Законы о мужеложстве, доставшиеся в наследство от воинственного Петра I, ценившего в подданных только боевую мощь, а не плотские странности, применялись избирательно. Как дубина: ею били, когда хотели утешить, или когда кто-то оказывался слишком слаб, чтобы откупиться.

В кабинете Светловидова на Моховой горела лампа. Профессор писал заключение. Он выводил букву за буквой, чувствуя, что это не просто бумага, а кирпичик в фундамент новой науки.

«...На основании антропологического исследования и анамнеза, — скрипело перо, — я, нижеподписавшийся, прихожу к выводу, что у камер-юнкера N. имеет место врожденная инверсия полового влечения, являющаяся не следствием порочных привычек или сознательного разврата, но патологическим состоянием, обусловленным эндокринной дисфункцией и

атавистическими изменениями в центральной нервной системе. Вменять ему в вину содеянное столь же нелепо, как наказывать зайку за его косноязычие или горбуна за форму его позвоночника».

Он поставил подпись, посыпал песочком и задумался. Он знал, что эта экспертиза вызовет скандал. Его обзовут развратителем юношества, либералом, продавшим науку за серебришки. Но он также знал, что другого шанса сказать правду об этой темной стороне человеческой природы, которую все видят, но никто не называет своим именем, у него не будет.

— Степан! — крикнул он, выходя в коридор. — Завтра с утра беги к приставу. Скажи, что профессор Светловидов просит допустить его для дачи показаний. И передайте этому щенку, — кивнул он в сторону Гагаринской, — пусть перестанет играть в рокового героя. У него теперь не театр, а судебная палата. И я, его последний шанс, не Мельпомена, а, увы, Эскулап.

За окном, на Моховой, глухо простучали копыта извозчика, унося в ночь очередного гуляку, который завтра утром снова станет образцовым чиновником, мужем и отцом, забыв о своих тайных пороках до следующего вечера. А здесь, в душной тишине кабинета, только что родилось слово, которое вскоре должно было ударить по устоям империи сильнее, чем любая бомба народовольцев. Ибо бомба разрушает тела, а правда о природе человека разрушает предрассудки. А с ними, как известно, бороться всегда опаснее.

Светловидов погасил лампу. Впереди был суд.

Глава 3. О науке и цензуре

Типография наследников товарищества «Общественная польза» на Литейном проспекте гудела ровно и деловито, словно улей, в который запустили руку небрежный пасечник. Пахло свинцом, сырой бумагой и тем особым, ни с чем не сравнимым духом типографской краски, въедающейся в поры — духом грядущей Истины, которую вот-вот облекут в плоть печатного листа.

Орест Валерьевич Светловидов стоял у наборной кассы, нервно покусывая кончик уса, что было у него дурной привычкой, появлявшейся лишь в минуты наивысшего напряжения. Перед ним, закатав крахмальные манжеты, сидел пожилой метранпаж с лицом заговорщика и глазами усталого мудреца. Он держал в руках корректурный лист, испещренный красными чернилами так густо, что казалось, будто по строчкам прошли кровавым дождем.

— Вычеркнуто, Орест Валерьевич, — тихо сказал метранпаж, отодвигая лист. — Цензор, Петр Иванович, старались. Здесь, где вы о греках пишете... где цитату из Платона приводите. И вот здесь, где о бароне фон *** из Семеновского полка. «Как не соответствующее нравственным устоям».

Светловидов взял лист. Пальцы его, тонкие и длинные, пальцы хирурга, привыкшие держать скальпель, дрожали. Но голос остался спокоен — та ледяная спокойность, что вырабатывается годами работы в палатах для буйных.

— Петр Иванович, — усмехнулся профессор, — дурак. Не злобный, но дурак. Он вымывает историю, думая, что спасает нравственность. Точно так же его коллега в Риме, папа римский, велел замазать фрески Микеланджело фиговыми листьями. И что? Пенисы от этого не исчезли. Просто искусство стало глупее.

— Вы бы потише, — метранпаж опасливо покосился на дверь, за которой шаркали швабры уборщиков. — Типография — место негласное. Здесь и бумага, как известно, стены имеет.

— Ах, оставьте! — Светловидов порывисто прошелся по тесной комнатухе, заставленной ящиками с литерами. — Я не политику пишу. Я пишу о болезни. О той, которую в России любят больше всего — любят не лечить, а прятать. Прятать за фасад, как дерьмо за парадную лестницу. Цензор мой, Петр Иванович, вымарал абзац о том, что в древней Элладе воинское братство не мыслилось без этой стороны жизни. Он боится, что офицеры, прочитав, решат, что это панацея от скуки гарнизонной жизни? Глупости. Офицеры это и без меня знают. С Петровских времен знают.

Он швырнул лист на стол.

— Возвращайте. Скажите Петру Ивановичу, что я сам поеду к нему. Объясню, где история, а где пропаганда. Ибо если мы начнем вырывать страницы из прошлого, то от настоящего у нас останется лишь пустота. А в пустоте, как в бане, плодятся лишь вши да сплетни.

Метранпаж вздохнул, собирая листы в папку.

— Ваше слово, Орест Валерьевич, крепкое. Но токмо... книга-то ваша по России уже гуляет. Слухи идут. В Английском клубе шепчутся. Один генерал в публичной библиотеке требовал книгу «для ознакомления», а когда ему выдали, перекрестился и сказал, что это не книга, а «пособие для развращения юношества».

Светловидов вдруг рассмеялся. Смех его был сух, как треск сухой ветки.

— Идеально! Значит, я попал в цель. Если бы генерал понял, что это руководство к диагностике, а не к действию, я был бы огорчен. А так... — он похлопал по кипе чистой бумаги, предназначенной для обложек. — Так я вижу, что мы живем в стране, где о болезни судят по тому, возбуждает ли ее описание. Чисто русская логика: если тебе говорят «не ешь это, оно ядовито», ты ешь, думая, что это запретный плод.

Он замолчал, глядя в окно на дымный петербургский вечер. На минуту лицо его потеряло циничную маску, став тем, чем было на самом деле — лицом человека, который слишком много знал о темных углах человеческой души, чтобы верить в благополучие.

Вернувшись в свой кабинет на Мойке, Светловидов не стал зажигать всех ламп. Он любил работать при одной свече, в сумерках, когда комната превращалась в раковину, а внешний мир исчезал. На столе, среди груд историй болезней, лежал свежий номер немецкого журнала *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*.

Там была статья его коллеги, Рихарда фон Крафт-Эбинга.

Светловидов открыл ящик стола, достал лист плотной гербовой бумаги. Писал он быстро, крупным, размашистым почерком, который знали все столичные издатели.

«Высокочтимый господин профессор, — начал он, и тут же остановился. Нет. Не то. Слишком чинно. Слишком по-немецки.

Он скомкал лист, бросил в корзину.

Взял другой.

«Дорогой коллега. Ваша классификация половых извращений безупречна с точки зрения анатомии духа, но...» — снова не то. Слишком робко.

Светловидов откинулся в кресле, прикрыл глаза. Перед его внутренним взором встал не Крафт-Эбинг, сидящий в своей венской клинике, а сам он, Орест Валерьевич, двадцатипятилетним ординатором, принимающий в Московском университете первого «такого» пациента.

Молодой гвардейский корнет. Красивый, с лицом, которое называли бы ангельским, не будь в глазах той муки, которую Светловидов научился распознавать мгновенно. Корнет пришел не от боли телесной. Он пришел от стыда.

— Доктор, я грешник, — сказал тогда корнет, ломая пальцы. — Я хуже убийцы. Убийца лишает жизни тело, а я... я оскверняю душу. И не могу с собой совладать.

Светловидов, тогда еще молодой, спросил по-свойски, с вызовом:

— Вы детей совращаете?

— Боже упаси! — ужаснулся корнет.

— Тогда в чем же ваше преступление?

— В том, что я люблю... — корнет запнулся, подбирая слово, — ...полковника N. Это неестественно. Это против природы. Я читал Крафт-Эбинга. Я — дегенерат. Я должен быть изолирован от общества.

Светловидов тогда промолчал. Он выписал корнету настойку валерианы и отправил в баню. А потом неделю не спал, перечитывая немецких психиатров. Крафт-Эбинг, конечно, был гений. Он собрал воедино всё, разложил по полочкам, дал названия. Но он же, сам того не желая, поставил клеймо. Для русского человека, особенно для русского офицера, услышать слово «дегенерат» было страшнее пули. Русский человек, если ему сказать, что он болен, либо пойдет вразнос, либо повесится. Немецкий человек составит план лечения и будет методично его выполнять. В этом различие двух великих культур, которое никто не учитывает в психиатрии.

Светловидов встал, подошел к этажерке, где стоял толстый том Крафт-Эбинга «*Psychopathia sexualis*» с его дарственной надписью. Книга была испещрена его пометками.

— Нет, мой друг, — вслух сказал Светловидов, обращаясь к невидимому оппоненту. — Вы пишете: «Извращение полового чувства есть признак вырождения». Вы вешаете ярлык. Вы ставите диагноз, который звучит как приговор. А я... я вижу этих людей. Я сидел с ними в кабинетах, в тюремных камерах, в монастырских кельях, куда их прячут родственники. Я знаю одного дипломата, который целовал руки солдатам в банях, и при этом вел блестящие переговоры с европейскими кабинетами. Дегенерат? Нет. Нервная организация. Иная. Вы, немцы,

пытаетесь всё подвести под закон. Для вас если не норма, то патология. У нас в России... у нас для этого есть другое слово.

Он сел за стол и написал уже твердо, без сомнений:

«Господин профессор Крафт-Эбинг.

С глубоким почтением, как ученик к учителю, осмеливаюсь не согласиться. Вы, создавая стройную классификацию, не учли одного — пространства. Не географического, а душевного. То, что в Вене или Берлине является признаком безусловной дегенерации, в России может быть лишь формой мистического поиска, или, напротив, самой пошлой бытовой данностью, не имеющей отношения ни к высокой культуре, ни к клиническому распаду личности.

Ваши термин «половое извращение» я перевожу на русский язык как «половое извращение» же, но вкладываю в него иной смысл. Для меня это не моральное падение и не обязательно вырождение. Это отклонение от вида, заданного природой ради продолжения рода. Но ведь человек — не только животное. У него есть дух. И если дух берет верх над инстинктом, то это не всегда патология. Это может быть трагедия.

Моя книга «Извращение полового чувства» расходится по России с огромным скандалом. Знаете почему? Потому что я посмел разделить. Я сказал: есть разврат, а есть болезнь. Разврат — это когда здоровый человек из скуки или порочности творит мерзость. Болезнь — это когда человек не может иначе, и страдает от этого.

В России не любят правду о любви. У нас любят либо святость, либо грязь. Середины нет. Если двое мужчин живут вместе — обыватель сразу скажет: либо святые отшельники (если они в скиту), либо содомиты (если они в городе). Третьего не дано. Я же пишу о третьем — о болезни, которую путают с преступлением. И о преступлении, которое маскируют под болезнь.

Вы пишете о патологии. Я пишу о жизни, которая эту патологию носит на себе, как крест. Или как орден. Смотря какая душа.

Ваш покорный слуга,

Профессор О. Светловидов».

Он перечитал написанное. Подумал. И приписал внизу постскрипtum, мелко, почти на полях:

«P.S. Русский цензор вымарал из моей книги упоминание о Сократе и Алкивиаде. Он счел, что древние греки вредно влияют на нравственность российского офицерства. Мне кажется, этот факт лучше любого научного трактата объясняет разницу между нашими подходами. Мы лечим тела. Мы не в силах вылечить историю».

Письмо было запечатано сургучом, на котором Светловидов не поставил гербовой печати, а просто придавил пальцем, оставив четкий отпечаток. В этом был свой вызов, своя гордыня, но в России, как известно, гордыня — не порок, а двигатель.

На следующее утро он сам отнес конверт на почтамт. Возвращаясь, зашел в свою любимую табачную лавку на Невском. Там, в сизом дыму, среди негоциантов и отставных военных, обсуждали его книгу.

— Слыхали? Светловидов-то, венеролог, пишет, что мужеложство — это не уголовщина, а наука! — басил толстый купец с Ильинки, потрясая газетой.

— Не наука, а диагноз, — тихо поправил его Светловидов, вынимая трубку. — Разница огромная, сударь мой. Наукой вы лечитесь. С диагнозом — живете.

Купец поперхнулся табачным дымом, узнав профессора, и побагровел. В лавке воцарилась та неловкая тишина, когда все делают вид, что страшно заняты, но уши торчат у всех, даже у полового, подметавшего пол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.